

Майя Кучерская



# БОГ ДОЖДЯ

Майя Кучерская

**Бог дождя**

«Вимбо»

1996; 2006

**Кучерская М. А.**

Бог дождя / М. А. Кучерская — «Вимбо», 1996; 2006

ISBN 978-5-00224-649-6

Москва, конец 80-х годов. Аня, новоиспеченная студентка филфака МГУ, решает свести счеты с жизнью. Всё, что раньше представляло для нее ценность, теперь кажется фальшивым. В момент глубочайшего отчаяния девушка обращается к Богу, принимает крещение, и это меняет ее жизнь навсегда. Так начинается путь Ани к обретению подлинной свободы и смысла жизни. Однако и в церкви героиню ждут серьезные испытания. Одно из которых – сильное чувство, вспыхнувшее к духовнику. «В „Бог дождя“ Кучерская мастерски конструирует ситуацию, при которой древние как мир табу вновь оживают, даруя читателю шанс испытать давно забытое ощущение – восторг и ужас от красоты запретного», – Галина Юзефович. Майя Кучерская – прозаик, филолог, педагог и литературовед, автор книг «Современный патерик. Чтение для впавших в уныние», «Тётя Мотя», а также биографии «Лесков. Прозёванный гений». Создатель программы «Литературное мастерство» в НИУ «Высшая школа экономики» и писательских мастерских Creative Writing School. Лауреат премии «Большая книга» (2021). Роман «Бог дождя» вошел в короткий список премии «Ясная Поляна» (2008) и получил премию «Студенческий Букер» (2007).

ISBN 978-5-00224-649-6

© Кучерская М. А., 1996; 2006

© Вимбо, 1996; 2006

## Содержание

От автора	6
Часть первая	8
Некролог	8
Свежий воздух	13
Конец ознакомительного фрагмента.	18

# Майя Александровна Кучерская

## Бог дождя

Иллюстрация: Юлия Стоцкая

*Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.*

© Майя Кучерская

© ООО «Вимбо»

\* \* \*

*...О, кто бы направил  
К золотым твоим берегам  
скитальческий парус!*

*Гёльдерлин. К Эфиру*

## От автора

Я очень рада, что мой уже довольно давний роман «Бог дождя» возвращается к читателю. Это история взросления одной московской студентки и ее поколения, рожденного в самом начале 1970-х.

Их юность пришлась на время перестройки, когда прежде закрытые окна и двери вдруг стали распахиваться, когда пал железный занавес, когда границы между странами разомкнулись. В Россию вернулись запрещенные книги и начали возвращаться бывшие диссиденты и эмигранты. В Москву приехала и выступала Нина Берберова, Ирина Одоевцева переехала из Франции и осталась жить в родном Петербурге, Владимир Войнович и Василий Аксенов после 1991 года тоже вернулись и поселились в Москве.

И это удивительная эпоха, конец 1980-х – начало 1990-х годов, улыбается и подмигивает нам с каждой страницы этой книги. Например, в начале романа мы застаем героиню в электричке. Тогда в электричке еще можно было курить. Ну, правда только в тамбуре. И кто хотел, курил. Среди пассажиров – алкоголик с татуировкой, который прикорнул на плече нашей Ани, девочка с леденцом, петушком на палочке, грозная бабушка с сумками, паренек, который читает только-только вышедшего тогда в России Николая Бердяева – и все это типы, это лица того времени, самого излета Советского Союза. Сейчас, кажется, таких уже не встретишь. Даже бабушки сейчас совсем другие.

За окном этого поезда тянется очень бедная, задавленная страна. Но она вот-вот очнется после долгого сна длиной в 70 лет. Люди, в том числе совсем молодые, ровесники Ани, узнают свободу, ее сводящий с ума вкус.

Каждый распорядится этой свободой по-своему. Кто-то пойдет в хиппи и будет путешествовать автостопом. Кто-то будет слушать тяжелый рок и ходить в кожаных куртках с железками. Кто-то увлечется наркотиками и погибнет. А кто-то поверит в Бога, придет в церковь и захочет научиться любить людей по-христиански. Как, например, героиня «Бога дождя» Аня и ее друзья.

Вместе с ними мы будем наблюдать пробуждение всей страны и в частности церкви. Тоже задавленной и замученной. Напомню тем, кто по молодости забыл или не знает. В советское время за веру людей убивали: сажали в тюрьму, расстреливали: вера в мир невидимый и Христа, призывавшего к прощению и любви, а не убийству инакомыслящих, вступала в противоречие с коммунистической доктриной и государственным атеизмом. Но даже и потом, уже в брежневские времена, в 1970–1980-е годы, открыто приходить в церковь, участвовать в таинствах было невозможно, ну, если ты не хотел, чтобы тебя выгнали с работы. Библия, книги святых отцов в книжных магазинах не продавались, в обычных библиотеках не выдавались, все это существовало только в самиздате.

Аня наблюдает, как все это стремительно меняется. Как прямо на ее глазах церковное подполье отпадает за ненадобностью. Священники приходят в школы и университеты, их показывают по телевизору. И она радуется этим переменам, но главное – тому, что обрела новый мир, мир веры и церкви, который населен, как ей кажется, святыми. Но ее духовный отец, отец Антоний, неожиданно оказывается не только добрым и умным, но и слабым. Он подвержен известному русскому недугу. А она так жаждет любви. Однажды ей откроется правда про него. И это окажется так тяжело, что она уедет из Москвы.

Меня часто спрашивали, насколько этот роман автобиографичен. Мне кажется, гораздо важнее то, что он искренен. Это искренний и честный текст о жизни молодых людей начала 1990-х и о нашей церкви в эту эпоху, эпоху ее возрождения. Что до автобиографичности, ну, конечно, да, там много взято из моей жизни и все-таки это не совсем я. Я особенно не курила. Я не училась на романно-германском отделении. Не уезжала в Канаду. Так что моя Аня и похожа

и совсем не похожа на меня в мои 20 с небольшим лет. Во всяком случае я себя такой уже почти не помню. И образ отца Антония тоже в общем собирательный. Тем не менее надеюсь, он получился живым.

Мне очень дорого то уже далекое время, я люблю свою юность и своих героев, их искания, их поиск смысла жизни. И буду счастлива, если у вас хватит интереса и сил пройти их путь вместе с ними, до самого конца, до последней страницы романа.

Счастливого пути!

## Часть первая О встрече

### Некролог

Она успевает. Втискивается в ближайший вагон, он забит, пятница, вечер, последние предпринятые работы, закутанный, толстый от одежды народ. Духота. Она пробирается по вагонам дальше, вперед, туда, где людей наверняка меньше и есть места. Проходит сквозь густые дымные облачка тамбуров, сквозь скопившихся в них мужиков, запах пота и перегара. Вот он, пустой лакированный край скамейки, она садится, сумку бросает в ноги. Электричка трогается. За окном плывут хрущевки, облупленные железки детских площадок, гнутые столбы от качелей, качелей давно нет. Чахлые деревца, розовый квадратик одеяла сушится на балконе – единственная яркая точка в студне вечера; дома исчезают, начинаются пустыри, тянется бетонный забор, на нем написано синей краской: «Светка, я тебя люблю». Лес. В темной, зрелой зелени мелькают желтые прядки.

Ее подташнивает, она плотно закрывает глаза, но так еще хуже. Нашупывает в кармане пачку, страшно хочется покурить, но тогда наверняка займут ее место. А ехать еще долго. Она остается сидеть. В ногах черная сумка, она расстегивает молнию – батон хлеба в целлофановом пакете, плоская банка шпрот, «Литературная газета», купленная по пути на вокзал. Она вынимает газету, раскрывает, заметно вздрагивает. Со второй страницы на нее смотрит тот, кого они вчера хоронили. Фотография, краткий некролог, рядом большая статья о нем. Читать она не может, закрывается газетой, газета слегка дрожит. Поезд набирает скорость, из оконных щелей пробивается ветерок, уже несколько станций позади, и она поднимает голову, смотрит в его лицо, в кроткие глаза за стеклами очков, в мелко набранный текст.

«Человеческая гениальность как бы одухотворяла и поясняла его гениальность как ученого», – читает она первую фразу и ничего не понимает. Перечитывает еще и еще, наконец пробивается и сквозь «как бы», и сквозь «гениальности». Читает дальше: «Свободное владение несколькими древними языками, включая арамейский и древнеегипетский, удивительная способность к проникновению в давно исчезнувшие культурные пространства и их реконструкции, кажется, были бы невозможны без его личной убежденности, что ни культура, ни язык, ни люди не бывают мертвы, но лишь забыты. „Надолго забыты? – часто вопрошал он в одном из своих бесчисленных „публичных“ выступлений (более напоминавших не обращение к слушавшим, но сосредоточенное собеседование с самим собой, на таинство которого допускались студенты) – Всего лишь на время. Кем забыты? Всего лишь нами“. Напрашивалось: нами, а не...? Довершить ответ предоставлялось самой публике. Он же в качестве последнего доказательства и подсказки оставил образцовые художественные переводы античных авторов, неизменно отмеченные редкой естественностью ума и вкуса. Мысль, чуждая претенциозности, вкус, избегающий стилизации, – так просто».

Она скользит взглядом вниз – под текстом подпись, вот это да! Ольга Грунина! Да это же Грунис, которая вела у них латынь... Просклоняйте, переводите, вы занимаете чужое место, greg, gregis, gregi, gregem, grege<sup>1</sup> – так и стоит в ушах ее металлический голос. Для нее они – как раз «стадо», тупые первокурсники, не умеющие распознать третье склонение мужского рода, путающие герундив с герундием. Но тут, видно, пробило даже Груниса. «Нами, а не...» Еще недавно такое не напечатали б ни за что.

---

<sup>1</sup> Склонение существительного «стадо» (лат.), в латинском языке относящегося к мужскому роду.

Впервые Аня увидела его полтора года назад. Она была еще школьницей и ходила в университет на подготовительные курсы филфака; на филфак она собиралась точно, не решила только, на какое отделение поступать. Толкать стеклянную дверь первого Гума, стягивать в гардеробе куртку, сжимать в кулаке пластмассовый номерок, подниматься на лифте на девятый этаж было необыкновенно приятно: каждый раз в этих стенах ее охватывало ощущение общности – к самому важному, почти святому...

В тот день занятия неожиданно отменили – заболел преподаватель. Аня тихо шла по коридору, никуда не торопясь, мимо сновали студенты, они уже учились, они поступили, но, вместо того чтобы смеяться от счастья, были какие-то бледные, нервные, что-то озабоченно друг другу говорили: опоздаем, курсач, не поставит... Она остановилась около большого стенда. Два ватмановских листа с расписаниями: 1-й курс русского отделения, 2-й курс романо-германского отделения. Историческая грамматика, история лингвистических учений, датский язык! Номера аудиторий, фамилии преподавателей, все учено и чинно, как вдруг рядом – припиленный булавкой – голубой листок объявления: «Лекции по античной литературе в связи с недостатком помещения переносятся из ауд. 110 в ауд. 7». «В связи с недостатком помещения» – это как? Аня улыбнулась. На бумажке стояло число – сегодняшнее, и время – лекция началась полчаса назад. Она спустилась на первый этаж, в седьмую аудиторию. Дверь в нее была чуть приоткрыта.

Аня осторожно глянула в шелку: огромная аудитория действительно оказалась битком – «недостаток помещения» наблюдался и здесь! Многие сидели на ступеньках. Над деревянной кафедрой возвышался человек – седой, сутулый, в сером обвисшем костюме, в очках с толстыми стеклами. Стояла абсолютная, только не мертвая, а живая тишина. Человек говорил – протяжно, довольно высоким, но приятным и мягким голосом. Ни на кого не смотрел. Говорил, точно бы пробиваясь сквозь легчайшую дрему, отвлекаясь от другого, не менее важного дела. Аня напряглась, вслушалась: словаплыли медленно и плавно, и казались завораживающе красивы – только ничего было не понять. Как будто он говорил на иностранном языке; только щепочки, только осколки – «император», «Рим», «первородство», «царство», «вульгарная латынь»... Она стояла и слушала, все равно как слушают музыку. И вдруг, еще через несколько минут, внезапно разобрала смысл: «...в интонациях его чудной серьезности, не разрушенной опытностью, неизменно звучит „мальчишеский“, юношеский тембр. На фоне его поэзии фривольность Овидия кажется перезрелой. Можно сказать, он относился к особой породе людей, не вечных юношей, а вечных отроков... И действительно Гёльдерлин, Гюго, Шиллер держали его за своего...» Аня восторгалась: кого, кого его? Тут же позвучал и ответ.

«Захватывающая тайна и сладкая жуть „Энеиды“ очаровывала, манила их за собой, притягивала, как магнит. Вергилий стал для своих современников»...

Она начала терять сознание. Словно чьи-то руки вдруг подняли и понесли – к сладкой жути, вечным отрокам, к этому сутулому сонному человеку, в каждом слове которого – чудо и жар. Что это? Почему то, что он говорит, так прекрасно и так трогает? Она отпрянула от двери, слушать дальше было невозможно! И быстрой тенью в сознании промелькнуло совсем другое лицо – чем-то этот лектор неувовимо напомнил ей давно умершего деда. Дед всю жизнь проработал водителем на заводе, а в войну возил снаряды, дед, конечно, был совсем из другого мира, но тоже как-то таинственно связывал ее с прошлым, с тем, чего не коснешься рукой. Аня спустилась в гардероб, руки в рукава, шарф вокруг шеи, шапку в карман – вылетела на улицу, толкнув плечом прозрачную дверь.

Зима кончилась, снега почти не осталось, только редкие бугорки под кустами да голая, темная, чуть смущенная земля. Стояло любимое ее время – апрель, она вдохнула сырой, пропитанный солнцем воздух, и тут же ощутила тоску. По этому странному лектору, по Вергилию, Гёльдерлину, Шиллеру, кому-то еще, о ком он говорил, а она не запомнила.

И она поехала не домой, а в районную библиотеку, где бывала часто, знала всех библиотечарш в лицо – попросила стихи Гёльдерлина и «Энеиду» Вергилия, из абонемента ее отправили на второй этаж, в читальный зал. Там ей выдали Вергилия в черной, бархатистой обложке и какую-то рассыпающуюся хрестоматию по европейской поэзии – с тремя стихотворениями Гёльдерлина – о Греции, о весне, об Эфире. С них она и начала. *«Снег слетает с ветвей подобно гряде лохмотьев, Прыгают рыбы вверх над яркой гладью потока...»* А что, совсем неплохо! Даже весело. И про ветер, который веет «сквозь поры трепетной жизни» – ей тоже понравилось, в этих стихах было так много красоты и действительно юношеской мечтательности. С Вергилием дело пошло хуже – разве что энергию его строк она уловила, но проникнуть в их смысл было трудно – незнакомые имена, боги, люди, намеки на неведомые ей обстоятельства – не лазить же за каждым словом в комментарий! В Вергилии, в отличие от Гель дер лина, Аня не разглядела даже намек на отрочество – ничего из того, о чем говорил сутулый, протяжный лектор. Но может быть, тексты – просто оболочка, черно-белая фотография, и нужно, чтобы именно этот человек лично представил им тебя, привел, передал из рук в руки?

Вскоре она узнала имя лектора – Журавский. Профессор с классического отделения, преподающий классикам и ромгерму античную литературу, светило и всеобщая любовь. Попасть на другие его лекции она даже не пыталась. Все было ясно и так: она поступит в университет, просто чтобы учиться у Журавского. На классику или ромгерм. Но от классики их школьный учитель по литературе, веселый и по-своему великий Эпл, прозванный так за ярко-красные, и правда похожие на яблоки щеки, удивительно контрастировавшие с его уже почтенным возрастом (ему было пятьдесят лет тогда, но им казалось – старик!), быстро ее отговорил: «Праздник жизни, молодости годы я сгубил под тяжестью труда? Хочешь дни и ночи учить латынь и греческий?». Аня дрогнула, молодых лет стало вдруг действительно жаль, и она остановилась на ромгерме, немецком, разумеется, отделении – немецкий она учила со второго класса в спецшколе. Эпл помогал как мог – нашел репетитора по немецкому, строгую и четкую Ингу Генриховну, давал книжки из собственной библиотеки, правил ее внеурочные сочинения, а уже в июне, перед самыми экзаменами, занимался с ней одной каждый день – бесплатно, разумеется. До этого подобной чести удостаивалась, кажется, только Петра...

Аня поступила, провела на даче чудесный август, и вернулась в Москву к сентябрю – раз в неделю Журавский читал им лекцию. Давнее чудо повторялось неизменно. Ощущение, что прикасаешься к Другому, несло прочь из старой аудитории, от исписанных столов и глупой зеленой доски, к ним – вечно бушующему морю, нежным курчавым грекам, у которых, по выражению Катона, слова стекали с губ, к меднолицым римлянам, говорящих прямо и от сердца, к Гете, Брентано, Шекспиру, Данте, которых Журавский тоже постоянно обильно цитировал – на пир к всеблагим.

Выяснилось, что профессора в универе не просто любили, уважали – его обожали – с затаенным ужасом и восторгом, именно как вестника иного мира. Даже начальство терпело его странности и прощало ему все – так прощают юродивых.

С каких заоблачных высей он спустился, из каких приплыл к ним земель? Толком ничего не было известно. Говорили, что мать его приходилась близкой родственницей Иннокентию Анненскому, отец был кадровым офицером, сам профессор признался однажды, что дед и бабка его жили еще при крепостном праве. Иногда в лекциях его проскальзывали упоминания о заседаниях каких-то эфемерных обществ любителей древностей, он цитировал какие-то всеми кроме него навеки забытые, читавшиеся там доклады... Случайно выяснилось, что и сам Журавский когда-то писал стихи – две дотошные девочки-русистки наткнулись однажды в ветхом журнальчике на два его стихотворения. *«В златой дубраве Аполлона / Сквозит сиреневая мгла»...* Найденные стихотворения распространялись среди студентов в списках. Поговаривали и о позднем, большом «дальневосточном» цикле: как будто профессору довелось побывать и в тех далеких краях, но возможно, то были лишь пустые слухи, домыслы, не важ-

ные, не, как любили у них выражаться, релевантные, потому что главным в Журавском было другое. Облик его дышал немислимой, незнакомой ни по кому другому, свободой.

Зимой в университете плохо топили, он входил в аудиторию в потертой ушанке с опущенными ушами в черном пальто. И читал лекцию одетым, все так же знакомо сутулясь, опустив глаза, без бумаг, цитируя на память непостижимо длинные куски из Гесиода, Пиндара, Плутарха, Катулла, иногда спохватываясь и переводя, иногда просто комментируя. Кажется, он не понимал, что первокурсники еще просто не в состоянии воспринять на слух греческий и латынь. В середине лекции Журавский мог вдруг прервать себя и пуститься в длинные застенчивые объяснения. Беда в том, что со вчерашнего вечера его бьет озноб, надежды поправиться по дороге на лекцию не оправдались, если только позволительно говорить о несбыточности каких бы то ни было надежд, а из окна сильно дует, он уже пытался отодвинуться, но лишь напрасно потратил силы, озноб усиливается, и он просит почтеннейших слушателей простить и отпустить его душу на покаяние. Все это тем же лекционным, протяжным тоном, обстоятельно, без всякого кокетства, но с неуловимой, едва угадываемой слушателями тихой улыбкой. Душу отпускали на покаяние, и неторопливо, в полной тишине он шел.

Проходя мимо него по сумрачному университетскому коридору, можно было расслышать вдруг невнятное, но как будто ритмически организованное мычание – редкие знатоки этих мелодий и ритмов узнавали псалмы Давидовы, щеголяя даже и номерами – профессор часто напевал их, направляясь в аудиторию. Но был ли он христианином? Был ли православным? Он был человеком.

Так и говорили старенькие университетские гардеробщицы, кроме него вряд ли кого еще так хорошо знавшие из многочисленных преподавателей, а о Журавском жалели, по очереди ходили к главному выходу читать некролог, он у них раздевался, он с ними всегда со странной, трогавшей их сердечностью здоровался, говорил неподолгу, и они причитали, качали головами: «Какой человек был!».

Мужичок слева от Ани засопел, едва они отъехали от Москвы, но голова его болталась, он поерзал и, не просыпаясь, положил голову ей на плечо. В нос ударило легкое облачко вони – перегар, пот, давно не мытое тело. Аня попробовала отодвинуться – и не смогла, сонная голова потянулась за своей подушкой – ее плечом. Темные жилистые руки в шрамах, на большом пальце голубела татуировка – рыбка в чешуе. «Налакалси», – неодобрительно подытожила бабка напротив, нахохлившаяся, коричневая, худая, в шерстяном зеленом платке, с двумя набитыми доверху сумками, одна в ногах, другая на верхней полке, бабка изредка поднимала туда глаза – проверяла. Рядом с бабкой пристроился длинный нескладный парень с книжкой в руках, которую он читал не отрываясь – электричку качнуло, книжку повернуло обложкой вверх – батюшки, Бердяев!

У окна сидела полная женщина с белокурой девочкой в рейтузах. Девочке не сиделось, она крутилась ныла, мать отпустила ее немного погулять по вагону. Вскоре девочка вернулась, счастливая – с чужим подаренным петушком на палочке. По пути к маме девочка вдруг остановилась, вынула изо рта леденец, хитро посмотрела на Аню, протянула ей сырую липкую палочку: на, полижи! Аня замотала головой; мать сердито усадила дочку на колени, Ане улыбнулась – слегка забито. Липкие ладошки сейчас же были вытерты материнским платком, петушок снова поселился во рту.

«Голос его был камертоном подлинности, – читала Аня дальше и надивиться не могла: безжалостная Грунина писала прочувствованно и мягко. – Никогда он не был окружен явными учениками – для этого профессору не доставало уюта и домашности, при трогательной внимательности к людям, слишком много в нем было инаковости, неотмирности, делавшей близкое общение невозможным».

Это было правдой, и сама Аня разговаривала с Журавским лишь однажды в жизни, минуты три, все-таки решилась посоветоваться с ним по поводу реферата по античке. Вопрос

ее был высосан из пальца, ей просто очень хотелось перемолвиться с ним хоть словом – они стояли у аудитории, он сказал ей в ответ несколько в общем ничего не значащих слов, которые сразу же и забылись, вытеснились. Потому что после этого профессор пошел в аудиторию, чуть споткнулся, уронил книгу, темно-зеленый литпамятниковский том, она мгновенно подняла, он взял книгу, но уронил ручку, она подняла, и тут Журавский с какой-то невозможной кротостью поцеловал ей обе руки... Экзаменов он никогда не принимал, отправлял аспиранток.

«Отчего-то казалось: такой человек должен был угасать медленно и красиво. Он же умер с трагической резкостью – упал поздним вечером на улице от сердечного приступа».

Это не он упал с трагической резкостью, это упала вся Анина жизнь.

Она ехала на дачу. Ехала умирать, и в этом у нее не было ни малейших сомнений. Пусть лежит вонючий мужичок на плече – он провожает ее в последний путь. Пусть девочка протягивает ей леденец и режет младенческой лаской сердце – вот она прощальная улыбка судьбы. Пусть не куплена новая пачка сигарет – зачем? И пусть умер Журавский, это уже не важно.

Он жил, и было понятно, зачем эти книги, эти тени, блуждающие в миртовом лесу, зачем бесконечная череда бывших и небывших героев, озорных богов, мстительных богинь, троянцев, дарданцев, вечно бьющихся друг с другом, вечно ждущих попутного ветра и плывущих навстречу судьбе. Их упрямое движение вперед завораживало, в их готовности к смерти пряталась тайна. Раньше она только изучала их, теперь двинулась за ними вслед.

За окном поплыли квадратные лоскуты огородов, кое-где еще не убрана была картошка, запах сырой земли проникал даже сквозь толстые деревянные, сплошь изрезанные рамы окон их вагона. Люди входили и выходили, исчезла нахохленная бабка с сумками, исчез парень с Бердяевым, на его место села смуглая женщина с коричневым пуделем в красной клеенчатой сумке, пудель слегка дрожал и поднимал уши, хозяйка, опустив в сумку руку, чесала ему за ухом. Девочка в рейтузах давно уже спала на руках у матери, которая тоже задремала. Место бабки осталось незанятым, вагон пустел. Мужичок все посапывал у нее на плече, грел, подскакивал головой, его серая кепка упала на пол. Электричка отходила от «Зосимовой пустыни», следующая была ее. Аня передвинула теплую голову на спинку скамьи, подняла кепку, положила на синеватые сцепленные руки. Прощай, дружок! Дружок только тихо всхрапнул в ответ.

## Свежий воздух

Здесь небо было выше и светлей, чем в городе, видно дождь не шел тут со вчерашнего дня – идти от станции было почти сухо. Аня шагала по каменным плитам сквозь жидкую желтую рощицу, вдыхая горькие осенние запахи. При малейшем ветерке с деревьев слетали стайки листьев, и, казалось, несли на землю ранний тихий сумрак.

Она открыла никогда не запиравшуюся калитку, врезанную в почерневшие деревянные ворота, пошла по песчаной дороге. На их улице никто пока не приехал: задернутые окна, пустые участки – может, съедутся завтра. Только из трубы бревенчатой сторожки, стоявшей в самом конце ряда, летел дым. Там жил их старый сторож дед Андрей; Аня помнила его еще с детства – сейчас он ходил уже еле-еле, с двумя кривыми палками, всегда в ватнике и ушанке, с белой щетиной на щеках. Дед Андрей любил заложить за воротник, пел скрипучим голосом песни, было у него и хозяйство – петух, куры, две козы – он пас их по очереди со своей бабкой Маней, которая была пободрей. От сторожки прибежали две собаки, мать и дочка – очень похожие: темная спина, светлое косматое пузо и грудь. Аня назвала их по именам: Альма, Лейка, привет! Альма счастливо заскулила, Лейка завиляла хвостом – красивые пушистые дворняги с сибирской лайкой в прапрабабках. Аня отломала им хлеба; понюхали и не стали: весной, исхудав за зиму, собаки бросались даже на огурцы, но после сытного колбасного лета рано было переходить на хлеб. Хвостатые девочки проводили ее до калитки и побежали домой.

Ключи по общему договору хранились в целлофановом пакетице, под крыльцом. Аня нащупала их в темной сырости под ступеньками, сняла с двери большой замок. Родители и тетка приезжали в прошлые выходные, и дух запустения еще не нашел сюда. Небольшой телевизор с антенной, который увозили на зиму в город (от воров), пока что стоял на тумбочке, прикрытый вязаной еще бабушкой кружевной салфеткой.

Дом был крошечный, отстроенный в строгие послевоенные годы, когда лишние квадратные метры карались законом. Сруб привезли из соседней деревни, а фундамент и крышу делали дедушка с тогда еще крепким дедом Андреем. Времена смягчали, родители давно уже собирались расширить и перестроить избушку, но никак не доходили руки. После тесной террасы с электроплитками и посудой начиналась отгороженная фанерной стенкой большая комната, в первой части которой они ели, во второй спали. В спальном углу приютилась кирпичная печка, над ней висел сушеный букет из неведомых Ане трав; по дому стелился свежий яблочный дух – под кроватью на газете лежала антоновка, но не так уж много – год выдался неурожайный.

Пока Аня ходила к колодцу, стемнело – мгновенно, резко. За дровами она пошла уже с фонариком. Затопила печку, поужинала чаем и шпротами, помочила из чайника тряпку, вытерла клеенку, вышла в тьму за добавкой дров. Подкинула дровяшки в печку, чтобы они тлели всю ночь и грели комнату. Включила телевизор, но звук почему-то не работал – по первой программе кругло открывал рот черно-белый Михал Сергеич, по второй тревожно хмурилось знакомое лицо какого-то актера, фамилии она, конечно, не помнила, здесь он играл явного председателя колхоза. Третья и четвертая на даче не ловились, да и по второй шла рябь – Аня повернула выключатель, экран погас. Вышла на крыльцо, выкурила последнюю сигарету, зажевала табачную горечь антоновкой из-под кровати. Заперлась на щеколду, разделась и погасила свет.

Она храбрилась, как могла, но, полежав несколько минут в темноте, поняла: это конец. Это конец был. И улыбнулась горько тщетности своих усилий: зачем так старательно топила печку, зачем набивала живот хлебом и рыбой – до утра не дотянуть. Да нет, все правильно, конечно, все как она хотела – в тихой пустоте, во тьме крошечной встретить смерть. Все складывалось точно по плану, вот он – дряблый финальный аккорд ее дурацкого пути.

Предчувствие конца охватило ее задолго до гибели Журавского, уход его всего лишь поставил точку. В конце фразы, сказанной по-гречески, по-латыни, по-немецки, по-русски, ха-ха. В этой фразе было всего-то три слова: не хочу жить. Ладно, четыре: жизнь не имеет смысла. Не чья-то – ее. У всех – да, видимо, имела, она не слишком смотрела по сторонам, – у нее нет.

Осознание этого настигло ее весной. До этого Аня училась – ходила на все лекции и семинары с прилежностью первокурсницы, по вечерам сидела в *библиотеке*, пропуская даже законные перекуры, на которые снимались почти все. Кто-то рассказал ей об этом старинном способе, и она тоже начала писать на бумажках новые немецкие и латинские слова, развешивала их по комнате на длинных нитках, цепляя к люстре, полкам, занавесочному карнизу. На обратной стороне русский перевод. Белые квадратики качались, с нежным шелестом гладили по голове – как пошутил однажды Глеб, «снегопад учености». Мама сердилась – только пыль собираешь. Но она не только, она заглядывала в них то с одной, то с другой стороны, каждый раз ощущая странный сладкий укол, надежду, обещание скорого родства. С мировой культурой. Дорога к пиру всеблагих лежала через этот пляшущий воздушный мостик, на это, именно на это счастливое преображение плебеев в патриции намекали и все их преподаватели, осторожно, но недвусмысленно давая понять: подлинными аристократами духа, аристократами от культуры становятся лишь знатоки языков, читатели Тацита и Гете. Сыворotka элитарности незаметно впрыскивалась в кровь, еще немного – и вы тоже будете иными, лучшими, чем сейчас, чем все...

Тошнота подобралась незаметно, сначала тошнило краткими приступами, потом все чаще и чаще. Чем резче Грунина корила их за невежество, чем обильней и заливейшей немка цитировала классиков, тем противней ей становилось – фальшь. Хорошее немецкое слово. Она все это выучит, и что? Мировая культура повернется к ней не спиной, а вполоборота, пусть даже в профиль, в профиль – и что? Ну вырвет она, зубами, задницей, это мировое гражданство, а дальше, а потом?! Аспирантура, положим, даже преподавание, сосредоточенные занятия наукой, и это – жизнь? Ажурный мостик тихо разваливался на унылые пыльные обрывки. Falsch.

Глеб с несколько вопросительной, впрочем, интонацией сказал: может быть, ты просто устала, надо отдохнуть. Оля засмеялась: да сколько уже можно учиться, поехали на майские ко мне, у меня день рождения, забыла? Аня поехала, вместе со всей их группой. Дача находилась в Опалихе, двухэтажные деревянные, только что отстроенные хоромы (папа у Ольки бросил науку, открыл кооператив и быстро процвел) – газ, теплая вода, большая полянка напротив дома, манящий грубый запах жареного мяса, красное вино, которого мальчишки, по протекции все того же всеильного Олькиного папы, купили целую реку, но это девчонкам, себе – водки. Аня, правда, тоже отпила несколько глотков, никому не признавшись, что это впервые! Как-то именно водки не доводилось... Кажется, она была в тот день красивой. Светлые волосы, вечно собранные в хвостик, распустила, даже Лешка, их главный красавец, откинув за плечи длинные каштановые кудри, подошел к ней с витиеватым гексаметром-тостом, начинавшимся словами: «Златоволосая Анна, сияешь ты ярче светлого мая...» Дальше она не запомнила, кажется, еще что-то про «влажные очи без дна – привет царю Посейдону»...

День выдался по-летнему теплый, с шашлычной полянки они отправились погулять в лес, Аня шла под ручку – то с Лешкой, то с Митькой, оказавшимся, кстати, не таким уж ботаником, смеялась их шуткам, самих шуток не слыша, отхлебывала из сверкающей рубиновой бутылки (мальчики предусмотрительно с собой захватили), кружились просвеченные солнцем, подернутые дымкой зелени березы – на кустах торчали острые, липкие почки, трава была свежей, новенькой, в желтых одуванчиковых кляксах. Лес еще не высох, под кустами и елками пряталась вода. На какой-то лужайке у ручья Аня села на сломанное дерево, кажется, дуб, потому что дальше идти была не в силах, и хохотала уже практически без перерыва, Лешка гладил ей плечи, Митька охотился на «оленья» – прыгал вокруг высокого пня с обрубками веток, –

девчонки гоготали, а охотник подбежал к ручью и с криком/ «Прочь, нимфы!» начал брызгаться, все завизжали, захохотали еще звонче – особенно отчетливо в ушах прыгал колокольчик смеха Вики, к которой Митька, как обнаружилось только сейчас, был равнодушен. Аня смеялась тоже, до нее брызги не долетали, ей было просто хорошо, но тут Лешка, стоявший рядом, вдруг повернулся, начал удаляться в сторону кустов, она протянула вслед руки, закричала: «Хочешь отплыть от нашей земли незаметно?»<sup>2</sup> Все снова засмеялись, а она запела эту же фразу на какой-то, как ей казалось, персидский мотив. Лешка исчез, а перед ней внезапно вырос Глеб (где, интересно, он бродил до этого?) и жестким голосом, вразрез с общим весельем, перебивая ее дивную песню, сказал: «Хватит. Сейчас же перестань. Напилась! Ведешь себя, как... Как...»

Он задыхался и не мог подобрать слова, поднял правую руку – ударить? Аня вскочила. Громко, глядя прямо в дергающееся Глебово лицо, совершенно не запинаящимся голосом произнесла: «Пошел ты на...!» Глеб повернулся и зашагал по тропинке к Олькиному дому. Визг у ручья стих – все всё слышали. Прошло несколько беззвучных мгновений, как вдруг тишину раздвинуло ровное густое гудение, на полянку прилетела пчела. Первая пчела этого года. Большая и грузная, деловито раздвинув лепестки-крылышки, она неторопливо и еще немного сонно летела к одуванчику, возвращая в оглохший мир движение и звуки.

Аня училась с Глебкой в одном классе, а теперь и на одном факультете. Он давно уже воспитывал ее и почти давил – еще осенью, увидев ее на сачке с сигаретой, рассказывал о душевредности курения, принес даже выписку из Павла Флоренского про табачный дым («чертов ладан»). Явно постарался написать круглым, разборчивым почерком, на двух сторонах картонного прямоугольника, сквозь который продернул нитку: «Снежинка, тебе в коллекцию!» Она только засмеялась тогда. Что Глебка – верующий, ходит в церковь, постится как сумасшедший, не курит и не пьет, Аня знала еще со школы. Он и ее давно уже пытался обратить, наставить на истинный путь, в начале десятого класса принес ей Евангелие (изданное где-то за рубежом) и несколько самых важных молитв, отпечатанных на папиросной бумаге. Аня не противилась, ей было любопытно, однако молитвы оказались смутные, невнятные, «иже», «яко», «воздаждь» – какое-то избыточное жужжание во всем; встречались, впрочем, и поэтические слова – но зачем? Не лучше ли молиться не по бумажке, а как получится, от сердца?

Евангелие – книжку в серой обложке, размером с ладонь и совсем тоненькими страничками – она почитала повнимательней, и удивилась отстраненно: вот откуда Достоевский, оказывается, все взял! – впрочем, дочитать, даже Евангелие от Марка, которое Глеб рекомендовал ей особенно настоятельно, сил не хватило. Вскоре Аня вернула ему и папиросные бумажки с молитвами, и заморскую книжку. Все равно ж это только повод, думала она, радуясь своей проницательности: Евангелие тут, разумеется, ни при чем – это же любовь, ухаживает мальчик как умеет, делится чем может – больше ведь в классе Глебка никому никаких молитв не носил. И хотя самой ей Глеб не так уж и нравился (смуглый, длинный, черный, коротко стриженный, какой-то очень уж серьезный и погруженный в себя) – его внимание было приятно... Отчего-то только он никак не решался признаться в своих чувствах вслух, и терпение ее кончилось – на выпускном Аня нарочно осталась с ним в классе вдвоем, чтобы все наконец произошло.

В белой рубашечке, синем галстуке, Глеб стоял у раскрытого окна – одухотворенный, строгий, красивый. Совершенно чужой. Сверху, из актового зала, неслась музыка, металлический голос Гребенщикова. *«Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят...»* В глазах у Ани зацвело, как всегда от этой песни.

– Знаешь, Он тебя очень ждет, – произнес вдруг Глеб.

Взглянул на нее, быстро опустил глаза. *Кто* Он, было ясно по приподнятой интонации.

<sup>2</sup> Перефразированные слова из «Энеиды» Вергилия. У Вергилия: *«Как ты надеяться мог, нечестивый, свое вероломство / Скрыть от нас и отплыть от нашей земли незаметно?»* (глава IV, 305–306).

– Да? Ну я тоже, тоже жду, – Аня тяжело вздохнула.

Ей хотелось услышать другое, поцеловаться наконец; все, все девчонки в классе были целованные, а две вообще уже *женщины* и рассказывали такое... Она единственная не целовалась ни разу! Конечно, это был секрет, никому на свете Аня не признавалась, рассказывала сочиненные истории про пионерский лагерь, но хотелось уже не придуманного, а правды.

А тут – «Бог», «ждет», да она тоже совсем не против встретиться, но позже, потом. А пока, Глеб, милый, посмотри, как хорошо на мне сидит это платье, белое, тонкое, воздушное, мамина знакомая сшила специально для выпускного. Посмотри, и глаза у меня не карие, а темно-зеленые на самом деле – такой необычный, таинственный цвет! Все мне так говорят. Но вслух Аня пробормотала «тоже жду». Глеб почувствовал себя уверенней. И уже не мог остановиться. Он говорил и говорил – о вере, любви Господней, о том, какую крепкую ощущает защиту с тех пор, как в прошлом году почувствовал в мире присутствие Божие, и какая на Пасху в храме небесная радость...

Так ничем и не кончилось тогда дело.

В универ Глеб поступил на русское, собирался изучать древнерусскую литературу, но они все равно часто встречались, ходили вместе в буфет, многие друзья тоже были общие.

Под его влиянием Аня даже зашла летом, уже после экзаменов, в церковь, – и что? Полумрак, удушливый запах ладана, иконы толком не рассмотреть, все ограждены какими-то золотыми ручками, неприветливые бабуси, урод-нищий – то ли женщина, то ли мужик – странное сморщенное безволосое лицо. Но она могла что-то не понять так с первого раза, не въехать – и Аня сделала над собой усилие, пошла снова, уже в другую церковь, – здесь посередине храма на табуретках лежал покойник в гробу, около него столпился хор старушек, несколько женщин в черном, старушки пели. Наконец-то хоть чуть-чуть стали понятны слова: «Ве-е-ечная па-а-мять!» Встреча с покойником показалась Ане символична – в Глебовой церкви царит духота и смерть. Осенью она бросилась в учебу, обожание Журавского, жила от лекции к лекции, писала на бесконечных карточках новые слова...

В середине второго семестра Журавский уехал в Рим, на целый месяц – общаться с тамошними коллегами: быстро, быстро менялось время, выбивая прежде заколоченные двери ногой; и вот уже печатали Гумилева и Ходасевича, начали выходить запрещенные книги, в универе вовсю шли разговоры, что история партии – ненужный предмет. И начали выпускать «невыездных», пока еще только самых великих. Журавский отправился за границу впервые. Можно было только догадываться, с какими чувствами он ехал к тем камням и развалинам, о которых думал и рассказывал всю жизнь. Заменяла профессора Грунина – разница оказалась убийственной, аудитория вмиг опустела.

Отъезд Журавского почти точно совпал с Аниной вселенской усталостью, и полжизни она проводила теперь на сачке, в милом нетребовательном трепе, покуривая, когда было что, попивая, когда приносили, пиво, обрастая новыми знакомыми, незаметно дозревая до романчика все-равно-с-кем... Последние надежды на Глеба окончательно рухнули после Олькиной дачи и лужайки. Глеб ушел. Из ее сердца тоже. Ольга рассказала ей потом по секрету, что в тот день случайно обнаружила его на чердаке, где Глеб, кажется... рыдал! «Все лицо было красное, опухшее, страшно смутился, когда меня увидел». Ане было все равно. Летнюю сессию она не завалила только за счет прежних заслуг.

После экзаменов все разъехались – кто по домам, кто путешествовать, Аня сама чуть было не поехала в Одессу, у Ольки там жила тетя и готова была поселить их обеих, но в последнюю минуту к ним решили присоединиться Вика, Ленка, Митька, еще двое ребят с русского, снять рядом домик – Аня решила не ехать. Ольга обиделась смертельно, кричала в трубку: «Ты можешь мне сказать почему?!». Да если бы Аня могла. Если бы она сама хоть что-нибудь понимала, но отчего-то все, что еще недавно казалось таким соблазнительным – теплое море, старый портовый город, веселая компания – представилось бессмысленным, ненужным! Спе-

циально ездила к Ольке просить прощения, та складывала вещи, гладила маечки, сарафаны, Аня, вдыхая мокрый запах глажки, тупо говорила ей: «Мне кажется, я скоро умру, и это правда, а перед смертью ехать в Одессу, ну как ты не понимаешь». Ольга бросила утюг, потрянула черными кудрями, пнула чемодан ногой:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.